

Таня Лоскутова



*Карл и Эллендея Профферы, основатели издательства «Ардис», с детьми
Эндрю, Ианом и Крисом, на руках — маленькая Арабелла*

Лублу

Вы знаете, они целовались везде. На улице, в метро, в очередях. Да, представьте, и в очередях они бывали. Они так хотели пожить настоящей советской жизнью, так хотели почувствовать себя на нашем месте, все просили ничего особенного для них не готовить. Но мы, конечно, старались, готовили.

Она ела практически все. Пока не обнаруживала в середине стола банку с черной икрой. Тогда бросалась на нее, как на амбразуру, ставила перед собой и ела ложкой. Мы провожали банку глазами, думали, каких усилий стоило достать ее, и радовались, что усилия не пропали даром.

«Я это лублу», — говорила она. Впрочем, она так мало знала по-русски тогда, что «я это лублу» означало тысячу вещей. «Мне это нравится», «Я это возьму», «Это отвратительно, но я потерплю» — позже она это заменила другой формулой, тоже на все случаи жизни: «Мало того, что не хочется, но надо».

Он же не ел ничего. Отказываясь от свежих помидоров (зимой!), от жаркого, от грибов, старался быть деликатным. Начинал издалека: «У нас на ферме, когда это готовили, я ничего не ел, я могу только...» — и называл два-три ерундовых блюда.

Позднее, когда он затруднялся произнести что-нибудь негативное о рукописи, человеке, явлении, — мы сами ему подсказывали: «У нас на ферме...»

Какие они были красивые! Правда, «были» относится только к нему, к Карлу Профферу. Он умер в 1984 году совсем молодым. В 46 лет.

Она же, Эллендея, красива и сейчас, хоть и любит говорить о том, что молодость уходит, здесь прибавилось, там убавилось. «Чем толще, тем культурнее», — утешаю я. Но утешать не надо. Она говорит без горечи, как может говорить молодая, красивая женщина, которая умеет считать годы, но предпочитает доверять зеркалу. А в зеркале — чудесное ирландское лицо с коротким носиком, томные, смеющиеся глаза.

Как могут томные глаза смеяться?

Но она-то особенная. У нее все не так, как у других. И думает она особенно. И живет особенно. И логика у нее особенная.

«У меня, конечно, нет денег, но я хочу купить дом в Калифорнии». И покупает. И перевозит свое издательство «Ардис» с собой.

«В нашем с тобой возрасте, Таня, надо жить у теплого океана», — говорит она. И опять — глаза смеются. Никакого возраста нет.

Или: «Не везет мне с собаками, то одна заболит неизлечимо (это про собаку по имени Пушкин), и ее усыплять надо, то другая сама умирает от болезни. Наверное, мне не надо иметь собак». И тут же приобретает новую собаку. Сейчас вот — сука Тамара. Странно звучит, конечно, но у меня в России была знакомая собака Джокки. В паспорте у нее было написано: «Джоконда Мона Лиза. Сука трехцветная».

Я, конечно, бестолково рассказываю. К тому же, вы просили о себе рассказать. Я и хотела. Но вся моя жизнь с 1969 года так тесно переплелась с Профферами, такое они событие для меня, такое... И любовь, и горечь, и гордость, и нежность.

Вообще-то я охотно о себе рассказываю. Интересно так, издали, на свою жизнь посмотреть. Всегда — чувство, что прожила одно, а рассказываю другое. Когда вслух говорю, жизнь, вроде, нелегкая была, а пока жила, не знала этого, думала — все так.

Отца моего, писателя Михаила Лоскутова, за два месяца до моего рождения арестовали. И, как в начале 90-х, перед эмиграцией я узнала, тут же, спустя месяца три, расстреляли. А давно, когда справка о посмертной реабилитации пришла, было написано, что «умер спустя три года после ареста при неизвестных обстоятельствах».

Вранье, конечно. Да я всегда знала, что у них — все вранье. Я так привыкла не верить им, что когда по телевизору шла передача «Сельский час», и я видела какой-нибудь изумительный пейзаж, ну, например, с заливным лугом, речкой извилистой, я про себя отмечала машинально «декорация».

У нас такой дом был — все про всё говорили. И мама, и бабушка. То ли смелые были, то ли легкомысленные. Жили мы в коммуналке, конечно. Бабушка — еврейка. Соседи — антисемиты. У бабушки, правда, такой характер был, что не поймешь, то ли еврейство, то ли сама бабушка протест вызывала. Мама ей все, какие могла, газеты выписывала, чтоб бабушку на первую половину дня выключить. А во второй бабушка выплывала в коридор, воздевала руки к потолку, где Бог, и проклинала сначала соседей, потом — маму, за то, что жить не умеет, потом Трумэна — за неправильную политику, а потом Сталина — вообще за все. (Да-да, именно в такой очередности: соседи — мама — Трумэн — Сталин.) Проклинала за свои беды, за папу моего, за то, что я такая тощая, а вот она, бабушка, в молодости совсем другая была: впереди груди по пуду, позади — косы по пуду (так и вижу бабку молодой, идет себе, вся такая уравновешенная).

Про бабушкину семью мне еще довспоминать надо. Странные, кажется, все были. Приезжала иногда тетка Оля из местечка на Украине, падала у порога на колени, рвала на себе волосы и повторяла загадочную фразу: «Мы все рождены от камня». Никто не спорил.

Можно еще про бабушку? Ну так вот. Живем втроем. Мама — журналистка, тогда в «Вечерке» работала какое-то время (потом чаще всего боялись печатать, как жену репрессированного. Все просили русский псевдоним взять, кроме, конечно, папиной фамилии). А бабушка работала в гостинице «Метрополь», в ресторане. Начинала посудомойкой, труженица была великая, лучше всех работала, потом до поварахи дослужилась. За всю жизнь ни одного отпуска не взяла, может, с нами, с мамой надолго расставаться не хотела?

Бабушка, надо сказать, кроме местечка на Украине с сюрреалистическим названием Середина-Буда (не знаю, были ли Начало-Буда и Конец-Буда) нигде не бывала, пока мама, кажется, перед самой войной, не перевезла ее в Москву. Я даже не уверена, что она подозревала о существовании других мест на земле. Правда, в разговорах с золовкой Басей Марковной мелькало слово «Палестина». Но я тогда думала, что это — еврейское блюдо. Потому что вставлялось оно везде, в том числе между словами «курица» и «форшмак».

И вот однажды звонит бабушка с работы домой и говорит маме: «Лена, приготовь мне чемодан, я уезжаю». Конечно, мама пугается и собирает всех на кухне. Ведь когда война или такая вот просьба неожиданная — все объединяются: и семиты, и антисемиты.

Тетя Груня говорит: «Лена. Ваша мама уже старенькая, к тому же устала, вон как работает, видно, у нее в голове что-то сдвинулось. И сейчас самое главное

— не волновать ее. Положите что-нибудь в чемодан, тряпки ненужные, газеты. Может, она увидит и успокоится». Мама так и сделала. Примчалась бабушка, попорхала по квартире, потом вдруг схватила чемодан и исчезла.

Что было с мамой — лучше не уточнять. Бросилась она к своему редактору Сане Гуревичу, так, мол, и так, мама пропала при загадочных обстоятельствах.

Саня был жуткий фантазер и мечтатель.

«Успокойся, Лена, — говорит. — Ты газеты читаешь? Сейчас, что у нас в мире происходит? А происходит Потсдамская конференция. Наверно, она поехала туда».

Мама, надо сказать, тоже была фантазерка и мечтательница. Ей так эта идея с Потсдамской конференцией понравилась, что уже через полчаса мама стояла в кабинете бабушкиного начальника в «Метрополе» и с ужасом слушала свой голос. Что-то вроде: «Как Вы могли отправить мою маму на Потсдамскую конференцию и не велели сказать об этом родной дочери?»

А дальше — невероятное. Начальник говорит «Не волнуйтесь. Да, мы отправили вашу маму на Потсдамскую конференцию в числе лучших работников, обслуживать русской кухней американскую делегацию. Конечно, мы просили не кричать об этом на каждом углу, но чтоб родной дочери не сказать? Нет, такого ужаса не было!»

Ну мама, когда опомнилась, сначала пообижалась на бабушку, потом простила, поняла, что вырвавшись за границу, бабушка просто перестраховалась.

И стала ждать. И вспоминать, как в редкие минуты душевного спокойствия они с бабушкой играли. «Ты знаешь, — начинала мама, — если ты когда-нибудь вырвешься за границу...» — Тут они уже начинали хохотать. Бабушка и в Малаховке-то под Москвой не была, какая там заграница! Потом мама продолжала: «Так вот, не привози мне никаких тряпок-шмоток, а привези мне только портативную пишущую машинку». Ну, прямо как в «Аленьком цветочке». Но бабушка смеялась: «Да я тебе две привезу». — «Одной хватит», — говорила мама. И они засыпали, довольные друг другом. Ну, ладно. Проходит положенное время. Мама все волнуется, когда эта конференция кончится. Соседи тоже волнуются: что за птица такая, оказывается, с нами рядом живет.

И вот — телефонный звонок. Бабушка — из аэропорта. «Мама, бабушка, где ты?» — кричим мы. А бабушка вальяжно так: «А кто это там со мной говорит?». Станный вопрос, конечно, если учесть, что «мамой» ее может назвать только дочь, которая у нее одна. «Ах, это ты, Лена, — догадывается бабушка, — пришли за мной машину». — «У меня нет машины!», — кричит мама. — «Тогда два такси», — говорит бабушка. Мама так и не узнала никогда, почему два такси могли компенсировать одну частную машину. Но она вспомнила тетку Олю, рожденную от камня, другую тетку — Веру, которая всю жизнь занималась обменах своих комнат в коммуналках, так как ждала, что соседи ее захотят отравить. Может,

и хотели, но не отравили. Зато сама тетка в конце жизни вообще перестала есть, даже у друзей и знакомых. Может, тоже боялась. Но обмены ей удавались лихо.

Итак, все это вспомнила мама по дороге в аэропорт. Разумеется, она взяла одно такси, из окна которого, подъезжая, и увидела бабушку. Та сидела в окружении восьми огромных тюков. Их с трудом втиснули в машину. Всю дорогу мама, подпрыгивая на этих тюках, пыталась пальцем нащупать свою портативную пишущую машинку. Когда тюки втащили без лифта на пятый этаж, мама бросилась развязывать узлы. Они не поддавались. Мама схватила ножницы, вспорола первый тук — перина. Второй — перина. Пятый — перина, восьмой — перина.

«Где моя портативная пишущая машинка?! — закричала мама. — И зачем столько перин?»

И бабушка отвечала рассудительно: «Ты знаешь, Лена, во время войны немцы сожгли у меня на Украине восемь перин. Так я забрала свое. Зачем мне чужое?»

Последнюю из оставшихся перин мы подарили нашей соседке, когда жили уже в другом доме. Соседка была профессором в инязе, преподавала там американскую литературу. Эта красная, огромная, роскошная перина как-то не вязалась с нашим убогим бытом и безалаберностью. Кстати, именно эта соседка и познакомила меня с Профферами в 1969 году. Видите, все ведет к ним. Карл, тогда молодой профессор Индианского университета, приехал в иняз по аспирантскому обмену. Он был специалистом по Гоголю и страстно любил русскую литературу и язык. На майках университетской баскетбольной команды, в которой он в свое время играл, красовалась надпись по-русски — «Дуроебы».

Позднее в своем издательстве он выпустил плакат «Русская литература лучше, чем секс».

Но издательству еще предстояло родиться, получить имя «Ардис» и начать по крохам собирать, издавать, переиздавать и сохранять то, что — не случись перестройка — навеки затерялось бы на необъятных просторах нашей родины.

А в тот год он, кроме интереса к загадочной стране, привез с собой красавицу-жену Эллендею. Помните моду конца 60-х? Правильно, мини. Так вот, на ней была такая мини-юбка, что ее все принимали за пояс, и то не очень широкий.

Карл искал художника, чтобы заказать портрет своей жены. Подвернулась я. Сделала портрет Потом еще, для себя. Но она сказала свое многозначительное: «Я это лублу» — и тоже забрала себе. Во время сеансов я учила ее говорить по-русски. Как и почти все иностранцы, она спешила освоить русский мат.

Я была довольна ученицей. Она — учительницей. Правда, она спрягала то, что не спрягается, склоняла то, что не склоняется и рифмовала и то, и другое. Звучало, как музыка.

Мы проводили с Эллендеей почти все время. Не хватало дня, — прихватывали ночи. Знакомились, допытывались, жадно искали общее в судьбах, вкусах и,

как сумасшедшие, радовались всяким совпадениям. Так, когда выяснилось, что я несколько лет назад выпала из окна 3-го этажа, а она в автокатастрофе вылетела через ветровое стекло, — счастью не было границ. Хвастались нашими ранами, пировали у нее в номере, в гостинице, она пила легкое вино, я, конечно, водку, она подходила к унитазу, где, была уверена, встроен микрофон, и с вызовом обращалась к «майору Пронину». Они обрастали людьми. Писатели, художники, отказники, диссиденты. Впрочем, диссидентами тогда казались все. Тогдашний мой муж — ученый, писатель, циник, романтик, библиофил и книжный вор, возбужденно расхаживал по маленькой кухне, внушал Карлу: «Пойми, быть просто профессором — несерьезно, мелко как-то. Тебе нужно издательство». — «И что я буду издавать?» — спрашивал Карл. — «А не важно, — бодро отвечал тогдашний муж, — начнешь с начала века, с того, что у нас никогда не переиздавалось. Сделаешь факсимильные издания с маленьких таких книжечек, ну, знаешь, Гумилева, Цветаевой, Мандельштама?» — «Где их взять? В библиотеке?» — деловито спрашивал Карл. — «В библиотеках, — уточнял собеседник, — знаешь, сколько таких библиотек по всей стране? Домашних библиотек, разумеется. Ну и что, что чужие? Кто будет считаться? Мне б только в дом попасть, а там — пять минут, всего делов-то». Кстати, однажды он продемонстрировал мне свою блестящую работу. Дело было так. Я хотела представить его Фриде Абрамовне Вигдоровой. Вигдорова была в то время главным человеком в моей жизни. Я смотрела ей в рот, ходила за ней хвостиком, была ее секретарем, шила ей и разрисовывала дом. И уж, конечно, тащила к ней в дом все и всех, кто заслуживал моего внимания. Я предупредила ее, что мой новый друг может «нечаянно» унести книгу. А его предупредила о том, что предупредила ее. Он обрадовался, что я сняла с него тяжелое бремя — объяснять свои маленькие слабости. И вот мы у Вигдоровой. «Я знаю, Танечка предупредила вас. И все же, Фрида Абрамовна, я вас умоляю, не спускайте с меня глаз, а то вдруг заговорюсь или, наоборот, заслушаюсь, и — того...» Глаз мы не спускали. Через минут сорок сердечно простились и пошли к лифту. Вдруг Вадим вскрикнул, рванул обратно к двери и нажал звонок. Фрида Абрамовна вопросительно посмотрела на него: «Что-нибудь забыли?» — «Да, вот тут, немного, извините, нечаянно, задумался было...» — и из распахнутого пальто, из карманов, из-под рубашки и даже из брюк посыпались книги.

Итак, на нашей кухне творилась история. Рождалось издательство. Уговаривал Вадим. Умно молчал Карл. «А я это лублу?» — спрашивала Эллендея. Мама не понимала: если американцы такие симпатичные люди, зачем они воюют с Вьетнамом? А если бы была жива бабушка, она бы задала мне свой единственный вопрос: «Они — гои?» Про все остальное в жизни она знала сама.

А я, а я вот здесь, сейчас, спустя четыре десятка лет, вспоминаю все это. Часть моего прошлого только во мне — нет мамы, нет Карла, нет Вигдоровой... Зато

остальное прошлое — стало моим настоящим. Я могу достучаться, позвонить, долететь, в конце концов.

Мое замечательное настоящее — Эллендея — поставила меня перед фактом в 1996-м: в мае летим в Москву. «Ардису» — 25 лет. Она предлагала мне съездить туда все эти годы. Я отказывалась — вежливо и не очень. Я уезжала навсегда. И хотела не изменить своего решения хоть раз в жизни. Но, увы, человек предполагает, а Эллендея располагает.

По крайней мере, я остаюсь в рамках своей непоследовательности. У меня нет ни радости, ни горечи, просто, как сказал Иосиф Бродский, мне предстоит «переместиться в пространстве».

Кстати, когда говорят о ностальгии, чаще всего путают понятия времени и места. Тоскуют по времени, а тянутся душой к месту. Впрочем, говорят, что несмотря на эту путаницу, ностальгия может быть очень сильной. Мне рассказывали про одного монгола, который учился в Москве и умер от тоски по родине.

Про ностальгию и родину я понимаю, но тоска по Монголии?..

Вот, вспоминают про диссидентов. Кто они были? Были ли вообще? И если были, правда ли, что помогали расшатывать. И правда ли, что именно они помогли рухнуть? Или оно само развалилось, а диссиденты уже потом себе приписали? И кто это такие?

Это те, кто просто иначе думает? Или иначе чувствует? Или и то, и другое вместе?

А диссидент ли тот, кто раньше «думал» против коммунистов, а теперь «чувствует» против демократов?

Думали ли они по-другому в одиночестве или кучковались, чтобы иногда поинакомыслить всем вместе? И неужели диссидент — это просто инакомыслящий? Всего-навсего? Как-то странно получается, прямо как у Высоцкого: «...эти семиты — простые евреи!»

А по отношению к чему нужно мыслить иначе, чтоб считаться диссидентом? И диссидент ли наш португалец-лэндлорд, который считает, что у человека должна быть только одна книга? Надеюсь, он имел в виду хотя бы Библию.

Мою знакомую, немолодую уже переводчицу, как-то спросили: «Как вы относитесь к Сталину?» — «Ах, ужасно, — ответила она, — он мне всю личную жизнь испортил! Стоило нам с мужем лечь в постель, как мы начинали говорить только о Сталине!»

Итак, все эти условные и безусловные диссиденты гнездились, в основном, на московских и ленинградских кухнях. Как, впрочем, и на киевских, и нижегородских. Но я — про то, что сама видела. Залетавшие в эти кухни американцы тут же проникались к диссидентам нежностью и сочувствием. Пили, пели, ели, дружили, получали невразумительные ответы на свои разумные вопросы, и,

зарядившись духом взаимопонимания, возвращались к себе с романтической уверенностью, что познали новый мир.

Дома же оказывалось, что привезенные ими ответы — вовсе не ответы, а еще более хитро поставленные вопросы. Как в сказке про грязнулю, у которой в ларце все золотые монетки наутро превратились в камушки.

Появлялись новые вопросы. Например, почему дух братства и доверия царит только на кухне, и все это перестает царить в ванной комнате?

Почему с непостижимой периодичностью каждый из гостей уводит тебя именно в ванную, и, отвернув все краны, под шум воды шепчет в ухо, что с таким-то нужно быть осторожным, а другому, тому, который между окном и холодильником, нельзя доверять вообще. А хозяин дома — стукач, поэтому скоро они разбредутся по одному, чтобы встретиться на совсем другой кухне, где будут только «свои».

Доверчивый американец следовал правилам конспирации и выходил «по одному». Он стоял под светом тусклого фонаря и с грустью провожал глазами появлявшиеся из подъезда и исчезающие во тьме одинокие фигуры. За кем ему надо было идти? Возвращаться в гостиницу было глупо, и он принимал решение вернуться в этот же дом.

Чтобы не предать ненароком гостей, считавших хозяина стукачом, американец собирался уже пробормотать что-нибудь про рано закрывшееся метро, про отсутствие такси, но хозяин уже радостно впускал его в квартиру, тащил на кухню.

Они сидели за остывшим чаем, хозяин рассказывал об их борьбе, о трудностях в получении тамошних книг здесь, о еще больших трудностях передачи своих трудов туда, о маразме верхов и угнетенности низов, и, конечно, о кухне — оплоте свободы и инакомыслия, последнем прибежище отчаявшихся.

Провожая гостя, он, конечно, затаскивал его в ванную, включал все краны, возбужденно шептал: «Как хорошо, что вы вернулись, я не мог вас предупредить раньше — ванна была занята весь вечер, — но сейчас я вам могу сказать, не доверяйте им всем, они все хоть и интеллигенты, но абсолютно ненадежны». И прибавлял задумчиво: «А может, и ненадежны оттого, что интеллигенты».

Между прочим, в стране, где не соблюдались никакие законы и правила, единственное, что соблюдалось свято и на всех уровнях, это правила конспирации. Моя знакомая, пожилая писательница, на вопрос, варила ли она сегодня суп, дипломатично отвечала: «Это зависит от того, зачем вы спрашиваете».

А спрашивала подруга потому, что, живя в одном подъезде, две одинокие женщины обычно обедали вместе, и суп варили, соответственно, по очереди. И вопрос этот возникал каждый день. Как, впрочем, и ответ на него.

Соблюдала конспирацию и моя мама. Однажды я вынесла из одной квартиры целый саквояж запрещенных книг. В квартире этажом ниже был обыск, и моя подруга боялась, что следующий будет у нее.

Я оказалась там случайно, времени на раздумья не было, и то, что не влезло в саквояж, я сунула себе за пазуху, за пояс брюк. Книги были чужие, были и рукописи, — кто-то тоже боялся держать их дома, но сохранить все это нужно было во что бы то ни стало. Я с сумкой, изрядно потолстевшая, прошла мимо лифтера, отставного вохровца, мимо черных машин, мимо одинаковых мальчиков у подъезда, подруга с пуделихой Мотей спустилась следующим лифтом проследить, нет ли за мной хвоста. Мотя нагнала меня в двух шагах от дома и, узнав, с радостным лаем бросилась на грудь. Тонкие книги и брошюры стали тихо соскальзывать вниз под моими брюками, я не могла нормально ступать, и, держа ноги «кочергой», походкой Чарли Чаплина побрела к своему дому. Мама подбирала высыпавшиеся из меня книги. Первым выпал Валерий Чалидзе. Мама сказал многозначительно: «Я спрячу все сама, можешь на меня положиться».

Через неделю смущенная мама выносила с балкона раскисшие под снегом книги и виновато говорила: «Там-то их точно никто не найдет». Я положились, она полагала. Сухими почему-то оказались только материалы к еврейскому симпозиуму.

Мама продолжала соблюдать конспирацию. Мой друг подарил ей старый пятиламповый приемник и попросил не включать его на полную мощность, когда она будет слушать «ихние» голоса.

Вечером мама разыскала меня по телефону подруги и возбужденно зашептала: «Ты представляешь, какое счастье, так хорошо слышно, как будто они за стенкой в кухне!» — «Кто в кухне?» — не поняла я. — «Ну, эти, которые «Глядя из Лондона», ну, ты знаешь, я не хочу называть». — «Мама, а почему ты говоришь так тихо?» — не без сарказма спросила я. — «Чтоб они не подслушали, ты же знаешь, наш телефон подключен!» — возмутилась мама.

Кстати, идея о прослушивании телефона крепко засела в голове всех моих знакомых. На телефон клали подушки, ватные одеяла, трубка снималась с рычага, и на рычаг спускался утюг. Телефон переносили из комнаты на кухню, из кухни в ванную. Даже совсем отключенный из сети, казалось, он таит в себе опасность.

Закутанный в одеяла, он был похож на старого, злобного больного. На него косились, при нем шептались, его ненавидели, его боялись и даже уважали немножко. Закутанный, с демонстративно оборванным проводом, он делал жизнь намного осмысленнее. Так в начале 60-х годов, молодые художники из издательства «Знание» считали недостойным не иметь своего личного стукача.

«Что ты делал вчера вечером?» — спрашивал один. — «Ну, что я мог делать? Опять этот за мной болтался весь вечер. Вот я и укатал его. Нарочно мотался



то на Тышлера, то в ЦДЛ, оттуда — в ВТО, потом — к Соболеву на Кировскую. Из окна смотрели, как он на углу полночи торчал!»

Перехитрить советскую власть хотелось всем. И точно так же, как мы пытались помочь друг другу самыми дикими доморощенными советами, мы обменивались не менее бесполезными рецептами, как обмануть телефон.

«Если вы хотите узнать, подключены ли вы, это очень просто! Снимите трубку, наберите четыре нуля, и если будет щелчок, значит все в порядке», — говорил кто-нибудь. — «Что в порядке, что в порядке, в порядке — да, или в порядке — нет?» — волновался другой. — «Причем здесь нули, — говорил третий, — главное — не произнести ключевое слово, машина реагирует только на слова, например, на слово «Солженицын», или слово «уехать», или слово «они», или «книга». Власть не так богата, чтобы слушать все подряд». — «Что же остается, вы назвали все слова, — кипятился четвертый, — к тому же интересно, почему это вы говорите «мы»?»

Моя разговорчивая мама долго репетировала произнесение в трубку слова «Солженицын». И вот однажды она позвонила соседке, чтобы сообщить, что книгу, которую она взяла накануне, уже прочитала и может вернуть. «Это было так прекрасно, — щебетала мама, — я получила массу удовольствия, какой язык, какой стиль! Он просто прелесть, этот Солженицын».

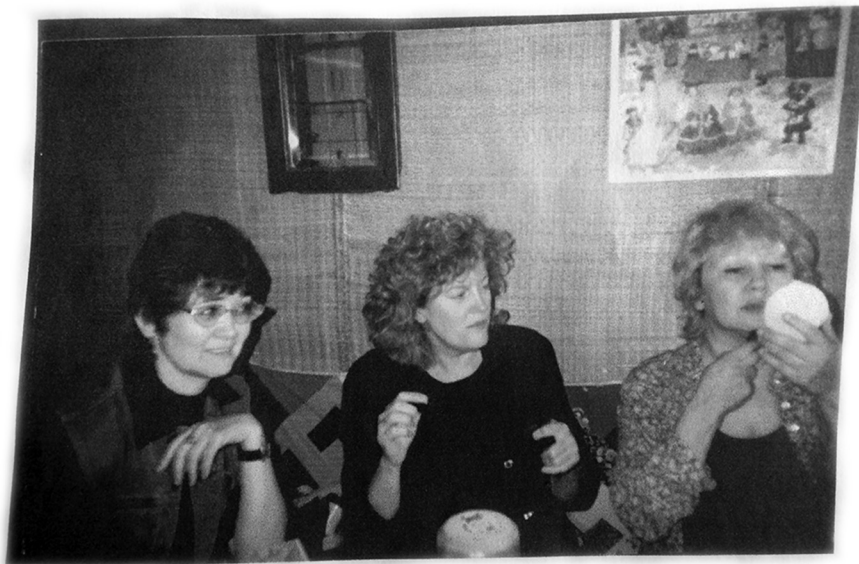
Соседка швырнула трубку и взвилась к маме на 9-й этаж. За объяснениями. «Что тут такого, какой же здесь криминал? — изумлялась мама, — Ну, пишет человек о грибах, о людях, о солениях. Оказалось, от долгой тренировки, что можно, что нельзя, мама просто перепутала фамилию «Солоухин» с фамилией «Солженицын».

Иногда в телефонных разговорах такие невинные слова, как «книга» или «рукопись» заменялись на «кофточка» или «выкройка».

Моя подруга Наташа Бианки взяла однажды у друзей что-то из самиздата и позвонила, что сегодня может вернуть. «Я использовала вашу выкройку для своей кофточки и хотела бы взять новую», — сказала она. Приехала и увидела, что друзья катаются по тахте и умирают от смеха.

«Видишь ли, — сказали они, — у нас есть знакомая спекулянтка. Иногда она достает какие то шмотки. Но так как она уверена, что за ней следят, то старается по телефону говорить эзоповым языком. Сегодня, сразу после того, как ты позвонила со своей «кофточкой», раздался звонок, и она сказала: «Сейчас я приеду, наконец, привезу книгу, которую вы просили достать».

Интересно, а как изъяснялись по телефону, например, самогонщики? «Приезжай, я дам тебе шесть томов Пушкина, только возьми с собой две трехлитровые банки!»



Женя Гаврилова, Эллендея Проффер, Таня Лоскутова

А врач-гинеколог, делающий аборт у себя дома? «Приезжайте, голубушка, часиков в шесть, будем примерять вашу кофточку. Только учтите, что после этого вам придется полежать часика два-три».

Перечитала. И думаю: о чем это я? И кому, кроме меня, нужна моя молодость, моя память, моя бабушка и красавица Эллендея? И — диссиденты, о которых так много писано-переписано?

Может, это и есть ностальгия по прошлому? Почему же тогда так не хочется в него возвращаться?

Может, я боюсь увидеть все сегодняшними глазами? Переоценить, переставить акценты, обеднить объективностью?

К черту объективность! Пусть мое прошлое улыбается мне оттуда своей загадочной улыбкой, и в каждом пересказе, даже для самой себя, дразнит меня всякий раз новыми красками.

Таня Лоскутова. Жила в Москве. Последнюю треть жизни — в Бостоне. «Больше всего люблю рассказывать. Любymi способами: рисуя, ваяя, валяя и воюя. Рисуя — всё, что вижу. Ваяю — всё, что придумываю. Валяю — всё, что помню. Называю это рассказами. Если получается в рифму, вру, что это стихи. Воюю с возрастом и ленью».